

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РИМА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ I в. до н.э. – I в. н.э.

Цель статьи – рассмотреть становление лингвистической теории в Древнем Риме, основанной на восприятии языка как артефакта. Объясняя утверждение конвенционально-номиналистического взгляда на сущность языка в I в. до н.э. – I в. н.э., автор прослеживает влияние социокультурных факторов, определившее этот процесс: пансемиотизма, фатализма, прогрессизма.

Ключевые слова: Древний Рим; лингвистическая теория; язык.

Благодаря усилиям исследователей-постпозитивистов во второй половине прошлого столетия набрала сила тенденция к сближению философии науки и истории научного знания. В результате этого приоритетным объектом первой дисциплины сделалась не «наука вообще», но конкретные области знания, взятые в конкретном историческом контексте в их связи с картиной мира данной эпохи. В свою очередь, историография науки стала всё чаще оперировать идеями и понятиями, заимствованными из философии, как, например: исследовательская программа, научная революция, эпистемологический разрыв и т.п. Симбиоз этих дисциплин определил возникновение новой, актуальной для них обеих задачи – работу над проблемой социокультурной обусловленности научного знания. Надо отметить, что до сих пор эта проблема разрабатывалась почти исключительно на материале «точных» наук: физики, астрономии, химии, – что, впрочем, вовсе не отменяет её актуальности применительно к гуманитарным сферам. Статья, предлагаемая вниманию читателей, посвящена анализу данной проблемы на примере одного периода в развитии лингвистической мысли, имевшего существенное значение для дальнейшего развития науки о языке.

1. Ключевой чертой древнеримского мировоззрения, значительно повлиявшей на восприятие сущности языка в римской культуре, был пансемиотизм. Суть того, что мы называем пансемиотизмом, состоит в следующем. На взгляд древних римлян, любая вещь могла явить собой знамение (signum). Различные явления природы, предметы материального мира, услышанные или прочитанные слова – всё это имело для них функцию потенциального знака, который в любой момент мог быть актуализован для них разумной душой мира. И потому вселенная, представавшая в свете римского мировидения, не имела в себе ничего, что бы обладало абсолютным бытийным статусом, будучи наделённым исключительной онтологической привилегией. В восприятии квиритов мир был таким, ни об одном фрагменте которого нельзя сказать, что в нем первоисток бытия открывает себя самым непосредственным образом – открывает в силу особой «прирожденности» ему этого предмета.

Для сравнения, у древних израильтян подобной «точкой» служило божественное имя, для жителей Египта – священные письмена, в которых, по их мнению, жили души египетских богов. Сопряженность этих образов с человеческой речью указывает на ее бытийное господство над вещным миром: слово и, в особенности, слово письменное осмысливалось на Востоке как первичное произведение Творца, за которым следовало создание материальной вселенной. Кстати

сказать, и в античной мифологии роль создателя языка приписывалась одному из божеств пантеона – Гермесу, или, по-римски, Меркурию (Оды I, 10, 3–5) [1. С. 56].

Однако на рубеже двух эр уже мало кто верил в то, о чем рассказывали древние мифы. Большинство римлян полагало, что язык в его современном виде изобретен людьми. Согласно стоицизму, влиятельнейшей философской школе того времени, речь, как и прочие искусства (artes), есть одно из проявлений мирового разума, реализующихся в человечестве. И потому, подобно любому другому артефакту, язык не обладает онтологическим приматом. Тот факт, что в культуре Рима были известны знамения, передававшиеся свыше посредством обычной человеческой речи, вовсе не подтверждает бытийной привилегированности языка. Фатум использовал свойственную людям знаковую систему так же, как и любую другую область бытия, хотя этот путь – его непосредственно вербальное самораскрытие – был, так сказать, наиболее коротким. Хотя в римской культуре существовало представление об иерархии знамений, первенство в ней принадлежало не артефактам, а предметам и феноменам природного мира: молниям, птицам, звездам и т.д. Все это считалось непосредственным творением Мировой Души (или, что то же самое, рока, фатума, разума мира), тогда как в языке и речи, порождаемых разумом человека, этот совершенный разум получает лишь неполное, искаженное воплощение.

Признаки онтологического несовершенства языка римляне видели в относительности его значений и подвижности. Им тем легче было чувствовать ограниченность своего наречия, что они жили в условиях би- и часто полилингвизма. Причем мерилom для оценки латыни служил богатейший и утончённейший язык эллинской словесности. Искушенные его достоинствами, блиставшими на фоне еще вчера незрелой латыни, некоторые из квиритов, вроде филэллина Филодема, признавали греческий не только языком Гомера, но и самих небожителей [2. С. 246]. И все же большая часть интеллектуалов была склонна распространять рационально-критическое отношение к родному наречию на язык как таковой. Как бы ни различались его частные разновидности, язык по природе своей относителен, т.к. основывается на представлениях пользующегося им народа (I, VI, 19) [3. С. 156]. И поскольку эти представления во многом путаны и хаотичны, ему присуща асимметрия между означающим и означаемым. Источники свидетельствуют, что в Риме прекрасно знали об этом за два тысячелетия до Карцевского и Соссюра. По словам Цицерона, «речь, истолковательница мысли, бывает различной по словам, употребляемым в ней, но совпадающей по смыслу» (I, X, 30) [3. С. 160]. Указы-

вая на примеры обратной асимметрии, Плиний Старший даже винит «греческое пустословие» в том, что по отношению к некоторым предметам, на его взгляд, появилось слишком много омонимичных обозначений (XXVIII, V) [4. С. 171]. Этот упрек имеет двойную подоплеку: свойственное стоикам осуждение текущих языковых процессов, а также «аллергию» квиритов старой закалки на все эллинское.

Мы бы могли продолжать ряд примеров, иллюстрирующих типичное для римлян I в. до н.э. – I в. н.э. понимание языка как артефакта. Но, думаем, и сказанного достаточно, чтобы утверждать, что если не во всем римском обществе, то, по меньшей мере, в его образованном слое доминировал конвенционально-номиналистический взгляд на языковую природу. Это представление лежало в основе свойственного римской культуре отношения к слову и обращения с ним. Им были определены образ и направление лингвистической теории (и, прежде, сам факт ее разработки в Риме), а также создававшиеся в ту эпоху практики манипуляции с языком. При этом нельзя отрицать и обратное воздействие: условно-номиналистическое понимание сущности языка возникло и распространялось под влиянием преобладавшего модуса его использования и переживания.

2. Приступая к анализу практик обращения с языком, возросшим на почве конвенционализма, рассмотрим сначала те из них, которые имели по преимуществу технический характер. К их числу относится скоропись, по дошедшим до нас свидетельствам, изобретенная в I в. до н.э. Тираном, бывшим рабом Цицерона. Ввиду огромной роли устного слова в их общественной жизни квириды быстро осознали практические достоинства этой техники, что обусловило скорое и повсеместное распространение стенографии. «Быстрой рукой они пишут знаки, равные словам, опережая речь оратора, и создают новые кратчайшие изображения слов», – спустя полвека говорил о мастерах этого дела Манилий (IV) [5. С. 103]. Еще одной практикой, особо востребованной в политических кругах того беспокойного времени, была тайнопись. «Если нужно было сообщить что-либо негласно, – пишет о Юлии Цезаре биограф, – он менял буквы так, чтобы из них не складывалось ни одного слова» (I, 56, 6) [6. С. 27]. Подобно своему гениальному предшественнику, собственную криптографическую систему имел Август, а также многие другие императоры и общественные деятели. Широкое употребление тайнописи было сопряжено, как у Августа (II, 88) [6. С. 71], с пренебрежением орфографией. По нашему мнению, оба этих явления отчасти были вызваны представлением о произвольности связи между обеими сторонами языкового знака. Если идти далее, то можно утверждать, что господствовавший конвенционализм был, в свою очередь, обусловлен пансемиотизмом, этой важной чертой римского мировоззрения и культуры. По воле Мировой Души одно и то же содержание могло передаваться посредством каких угодно знамений. Но и обратно: один и тот же знак мог нести в себе разные сообщения.

Благодаря активному использованию криптографии, а также вызвавшему его мировоззренческому фактору, латиняне отчетливо осознавали возможность построения вторичных знаковых систем. Нам неиз-

вестно, насколько эта возможность была реализована на практике, но идея искусственного языка витала в воздухе того времени. Об этом говорит хотя бы то, насколько часто и подробно лирические поэты упоминают в стихах его различные подобию – системы жестов и прочих знаков, принятых у влюбленных. Такие системы могли употребляться по преимуществу автономно или в контексте с естественной речью, изменяя ее обыденное значение. Примеры обоих способов находим у Овидия:

Красноречиво с тобой разговаривать буду бровями,

Будут нам речь заменять пальцы и чаши с вином

(пер. С. Шервинского).

Так обращается к избраннице лирический герой одной из его «Любовных элегий» (I, 4, 19–20) [7. С. 28]. В другом стихотворении, вновь касаясь этой детали, поэт пишет о «переглядах и знаках, этом условном языке, слов затемняющем смысл» (III, 11, 23–24) [7. С. 91]. Наконец, в ряд рассматриваемых техник манипуляции с языком можно включить практику свободного обращения с человеческими именами. Заметно активизировавшаяся в конце I века до н.э., она имела более глубокие духовные основания, чем все описанные выше техники, и потому заслуживает специального обсуждения. Отметим, что к ее ключевым проявлениям относились факты самовольного изменения своего или чужого имени, обретения знатными женщинами личных имен (*praenomina*) и т.д.

Завершая обзор представленных практик, укажем, что все они (последняя – с некоторыми оговорками) были не более чем побочной ветвью общего направления, в котором развивалась античная установка на культивирование речи. Обусловленная и обусловливавшая конвенционально-номиналистическое отношение к языку, эта установка осуществлялась и в гораздо более значимых формах. Их суть, на наш взгляд, совокупно выражается в одном понятии – культура речи. Вмещающая в себя занятия грамматикой и литературной критикой, сочинительство и ораторскую практику, культура речи также изначально мыслилась греками и римлянами в качестве техники *sui generis* или, что то же самое, искусства. Ведь как явствует из одного пассажа Александрийской грамматики, искусством (*ars, τέχνη*) в Античности называли различные «системы приемов, усвоенных для какой-нибудь полезной в жизни цели» [8. С. 105]. Впрочем, то, что, к примеру, стенография и красноречие сближались в едином определении, отнюдь не мешало квиридам осознавать неравенство их социальной значимости и духовной ценности. Идея иерархии разных «ответвлений» культуры речи отчетливо прослеживается в последовательности изучения школьных дисциплин. Образовательный процесс в римской школе основывался на постепенном переходе от овладения грамматикой и навыками комментирования текстов к покорению вершин ораторского мастерства.

Многообразная практика сознательного и целенаправленного усовершенствования речи, игравшая исключительно важную роль в культурной жизни Рима, имела в качестве метафизического основания представление о происходящем в мире всеобщем прогрессе. Становясь важной чертой римского мировоззрения,

прогрессизм усиливался по мере укрепления принципов и становления Империи, упрочивших материальное благополучие квиритов. «...Я люблю то, что почти целиком создал сам или что усовершенствовал», – выражает типичное для своей эпохи убеждение Плиний Секунд, уверенный в том, что «все... можно если не победить, то смягчить искусством и старанием» (V, 6, 41) [9. С. 87]. И если вспомнить, насколько часто в памятниках той эпохи встречаются упоминания о животных и птицах, внезапно прорицавших человеческим языком, можно заключить, что в свете римского мировидения человек отличался от животных не столько наличием у него речевой способности, сколько потенцией к произвольному ее развитию.

Будет ошибкой утверждать, что обработка языка являлась самоцелью такого сложного явления, как культура речи. Успешней всего эта задача решалась в процессе литературно-художественной и ораторской практик, имевших более конкретные ориентиры: создание эстетических ценностей, влияние на ситуацию в общественной жизни, победу в судебных прениях и т.д. О том, в чем состояла работа литераторов именно над словом, мы узнаем из посланий Горация. Поэт не случайно сравнивает эту работу с земледелием, воспетым его великим современником Вергилием: понятие «культура» происходит от латинского глагола «colere», в первом своем значении связанного с обработкой земли.

Пышные он пообрежет, бугристые здоровым уходом
Сделает глаже, а те, что утратили силу, отбросит

(пер. Н. Гинцбурга).

Так говорит о словах Гораций, очерчивая круг основных задач, стоящих перед писателем в отношении языка (Посл. II, 2, 122–123) [1. С. 376]. По мнению поэта, в их число входит исключение лексем, лишившихся со временем экспрессивной энергии, и, напротив, возвращение в обиход несправедливо забытых «выразительных слов и речений». Кроме того, руководствуясь своим эстетическим вкусом, литераторы должны утверждать или отсеивать неологизмы, которые порождает общество, а также вносить собственный вклад в словотворчество (ст. 109–123) [Там же].

Итогом усилий нескольких поколений римлян в области культуры речи стало расщепление латыни на классический язык образованного слоя и народное, «вульгарное» (*vulgus* – «народ») наречие остальных латинян. Так, на уровне речи, проявилась социальная дифференциация некогда однородной общины и вызванная ею аристократизация образования – явления, под знаком которых в Риме проходили два последних столетия старой эры.

3. Став центральным занятием интеллектуалов и модным увлечением нобилитета, все сильнее отмежевывавшихся от стихии народной жизни, культура речи превращалась в род довлеющей себе деятельности. Многие из причастных к ней людей теперь находили в этой деятельности высший смысл человеческой жизни. Применительно к эпохе I в. до н.э. – I в. н.э. мы можем говорить о подлинном культе слова. Из системы приемов, обладавших практической ценностью, совершенствование языка сделалось искусством в нашем, современном, смысле. Его цель отныне полностью замыка-

лась в нем самом. Своего апогея описываемая тенденция достигла в два последующих столетия – время расцвета так называемой второй софистики. Гипертрофия роли слова в общественной жизни приводила к тому, что речь, заслоняя собой действительность, искажала и затемняла ее. Подробней об этом будет сказано ниже, а пока приведем примеры, иллюстрирующие суть происходивших изменений. Светоний свидетельствует, что на одном из судебных заседаний адвокат Марк Помпоний Марцелл так долго разбирал в своем выступлении языковую ошибку, допущенную противником, что нанявший его Кассий Север попросил перерыва, чтобы сменить защитника. Мотивируя свое решение, Север пояснял: «...По-видимому, предметом дальнейших прений будет не справедливость, а погрешность в языке» [10. С. 300, 301]. Мы также видим, как Авл Геллий, автор знаменитых «Аттических ночей», передавая страшный рассказ о трагедии в Теане, занят анализом глагольных форм, увлеченный «яркой прелестью речи» рассказчика (X, 3, 19) [11. С. 181–182].

Перерождению культуры речи в культ слова, без сомнения, способствовало усиление фаталистических убеждений, характерное для интересующей нас эпохи. Если всё в мире вершится по воле рока и от человека, в конечном счете, не зависит ничего из происходящего в реальности, то на долю смертных остается лишь «говорение» – бесконечное рафинирование слога в духе прогрессистских представлений, парадоксальным образом сочетавшихся с фатализмом¹. Не случайно в это же время среди римской элиты стало распространяться увлечение научными изысканиями. Из-за незнания экспериментальных методов наука в Риме сводилась по большей мере к построению чистой, оторванной от практической жизни теории.

Культом речи, господствовавший в элитарном сознании, обусловил то, что в своих рационалистических штудиях римские интеллектуалы уделяли большое внимание языку. Вместе с рассмотренными практиками совершенствования речи лингвистическая теория стала еще одним фактом римской культуры, определенным конвенционально-номиналистическим переживанием и использованием языка.

Не имея возможности рассмотреть это учение во всех подробностях, сосредоточимся на его концептуальном ядре, связанном с вопросами происхождения и развития языка. Почему именно эти проблемы стали важнейшими в спекуляциях теоретиков I в. до н.э. – I в. н.э.? Мы считаем, что причиной такого направления лингвистической мысли послужило действие двух основных факторов. Одним из них была уже известная идея цивилизационного прогресса, владевшая умами квиритов в рассматриваемую эпоху. Примечательно, что большая часть сохранившихся рассуждений о генезисе языка включена в широкий контекст размышлений об эволюции человечества. Другим фактором являлось состояние речевой действительности того периода. Литературная латынь еще не подчинялась автоматическому действию детально разработанных правил и прописанных норм, которые еще находились в становлении. Критерии правильности речи по преимуществу определялись узусом, формировавшимся «с оглядкой» на то, как использовали язык авторитетные

литераторы эпохи. Римляне очень живо ощущали, что их язык пребывает в непрестанной динамике. Об этом говорит их обостренная чуткость к слову и забота о нем. И хотя подвижность языка была самоочевидной, то, как и почему он развивается, было невозможно постичь, не объяснив причин и механизма его возникновения. Так что нет ничего странного в том, что предметом раздумий первых римских теоретиков стал сам факт языкового генезиса.

При беглом обозрении концепций происхождения языка, кажется, что они находятся в противоречии с конвенциональным восприятием его природы, свойственным образованным кругам Рима в то время. Дело в том, что доктрина, сводящая проблему возникновения языка к идее условного установления, занимала маргинальное положение в палитре известных гипотез. Ее поддерживали Диодор, Витрувий и, позднее, Лактанций [13. С. 58–91]. Эпикурейцы же и стоики, философские вожди двух рубежных столетий, решали эту проблему иначе.

Римские последователи Эпикура, наиболее выдающимся из которых был Лукреций, в самом общем виде объясняли появление речи так:

Что же до звуков, какие язык производит, – природа
Вызвала их, а нужда подсказала названия предметов
(пер. Ф.А. Петровского) (V, 1028–1029)
[14. С. 187].

Встретившись в нужный момент, «нужда» и «природа» стали взаимодействовать: необходимость выживания и адаптации к природному миру пробудила в людях заложенные природой способности, а те, в свою очередь, повлияли на формирование сверхприродных, сугубо человеческих потребностей и запросов, создавших культуру². Что касается механизма возникновения языка, то в этом вопросе эпикурейцы догматически следовали наставлению учителя. Эпикур писал, что язык возник «отнюдь не по соглашению: сама человеческая природа у каждого народа, испытывая особые чувства и получая особые впечатления, особым образом испускала воздух под влиянием каждого из этих чувств и впечатлений, по-разному в зависимости от разных мест, где обитали народы» (X, 75) [15. С. 418]. Таким образом, по мысли греческого философа, было два источника детерминации, предопределивших появление языка в его туземных вариантах: во-первых, воспринимаемые людьми предметы и события окружающего мира³; во-вторых, природные факторы (своеобразие воздуха, климата и т.д.), обусловившие особенности восприятия и артикуляции звуков у разных народов. Таков был начальный этап языкового генезиса. В дальнейшем, согласно рассматриваемой концепции, люди действительно воспользовались конвенцией, чтобы сделать язык более упорядоченным и удобным в употреблении. Однако изменения, вызванные в его устройстве этим соглашением, имели вторичный, «технический» характер и не оказали значительного воздействия на первоначальную природу языка [13. С. 295–306].

Подход стоиков к этой проблеме также основывался *par excellence* на принципе детерминизма. Но утверждаемая ими зависимость была другого, не столь реактивного свойства. Исходя из представления о всеобщей разумности мира, стоики предложили свое решение

старого спора о том, как – по природе или установлению – были даны вещам первые имена. Они находили по-своему правильными обе позиции: язык возник по установлению и вместе с тем по природе. Сообразуясь с воспринимаемым ими логосом мира, люди сами придумали начальные названия вещам. Но для того чтобы сделать это, они должны были «всматриваться в особую природу» каждую из них, распознавая оформивший ее «сперматический логос» (λογος σπερματικός) – идею вещи, который вложила в нее Мировая Душа в качестве своей малейшей «частицы» [8. С. 75].

Процесс возникновения языка стоики объясняли с помощью понятия мимезиса. Создавая слова первоначального языка, люди, на их взгляд, подражали именуемым предметам. Подражание могло быть чисто звуковым, когда звучание слова напоминало звуки, издаваемые вещью (ср.: *hinnitus* – «ржание лошади», *tinnitus* – «звон меди»), или символическим – когда в звуковом облике слова отражалось то впечатление, которое производил на людей предмет (ср. «жесткое» звучание слова *styx* – «кредь» и «мягкое» слова *mel* – «мед») [8. С. 72–73]. Как видно, названные способы имитации не противоречат общим положениям Эпикура и могут, с некоторыми оговорками, рассматриваться как один из вариантов их конкретизации.

Согласно учению стоицизма, последующие слова возникали в результате переносного употребления первых имен, что постепенно привело к почти полному стиранию исконного соответствия между формой и содержанием (лектов) слова. Представители этой школы по преимуществу негативно оценивали эволюцию языка и рост цивилизации в целом. Они видели в этих процессах прогрессирующее забвение изначальной гармонии познающего человека и познаваемой природы, которая существовала прежде благодаря осознанию человеком растворенного в мире божественного разума. Не случайно главной своей задачей в области исследования языка стоики считали обнаружение исходной связи между словом и сущностью называемого им предмета. Этимологизирование было для них методом философского постижения реальности. «Мы часто задаемся целью, исходя из анализа имен, уловить природу именуемых ими вещей, или же, познавая эту природу, стараемся показать, что установленные для вещей имена ей соответствуют», – от лица всей школы заявлял Аммоний [8. С. 75].

4. Очертив контуры ключевых концепций происхождения языка, мы вновь оказываемся перед поставленным вопросом: как объяснить противоречие между их неконвенциональным характером и условно-номиналистическим восприятием речи в элитарной римской культуре I в. до н.э. – I в. н.э.?

То, что язык в его современном состоянии изменяется людьми, не нуждалось в доказательстве: интеллектуалы и были заняты в своем большинстве культивированием речи. Вместе с тем господствовавшее в то время убеждение во всеобщей причинности внушало, что человек не мог начать творить язык *ex nihilo*, руководствуясь лишь собственным произволением. Должна была существовать сила, которая бы стимулировала и направляла его активность в этом отношении. Таким образом, обозначенная проблема принимала следую-

щую форму: можно ли утверждать, что хотя первый этап языкового генезиса был обусловлен факторами, не зависящими от человеческой воли, на дальнейших ступенях своего развития язык всецело перешел во власть людей? Или, напротив, не только возникновение, но и весь путь его эволюции подчиняется действию определенных, не зависящих от человека закономерностей? Вокруг этих вопросов развернулась напряженная продолжительная дискуссия, вошедшая в историю под названием спора аналогистов и аномалистов.

4.1. Приступая к анализу этой дискуссии, отметим специфическую модальность многих рожденных в ней тезисов. Зачастую в них утверждается не то, как эволюционирует язык на самом деле, а то, скорее, как он *должен* развиваться. Нас не слишком удивит эта особенность, если мы вспомним состояние речевой действительности, на фоне которой происходил знаменитый спор. Присущий ему долженствовательный тон выводил этот спор за рамки науки в сферу идеологии. И потому большую роль в нем играли субъективные «интересы», что приводило его участников к игнорированию, казалось бы, несомненных фактов.

Итак, аномалисты полагали, что важнейшей силой, направляющей динамику языка, являются сознательные и неосознанные действия людей, а также прочие стихийно складывающиеся обстоятельства. Сторонники аналогии настаивали на обратном. Язык, по их мнению, изменяется по своим, свойственным только ему законам. Главными приверженцами аналогии были стоики, что, на наш взгляд, объясняется общим характером их воззрений на языковую эволюцию. Так как изменения языка, последовавшие за первоначальным ее этапом, были не чем иным, как его деградацией, состоявшейся в разрыве связи между именем и вещью, то эта эволюция не может подчиняться каким-либо устойчивым законам. В противном случае выходило бы, что один и тот же божественный разум сначала сделал возможным совершенное именование и речь, а затем исказил их до неузнаваемости. Ведь источником всех закономерностей, действующих в бытии, стоики признавали Мировую Душу. Другими апологетами аномализма – правда, не столько из метафизических, сколько утилитарных соображений – являлись выдающиеся ораторы и теоретики красноречия того времени: Цицерон, Дионисий Галикарнасский, Квинтилиан и т.д. Среди прочего их не устраивало в аналогизме то, что он грозил оторвать язык от человека, превратив его в автономно работающий механизм. Риторы считали, что правильность речи определяется прежде всего ее уместностью. И потому, говоря словами Квинтилиана, «самый верный наставник в речи – это обычай», т.е. то, как говорят люди, а не некий свод абстрактных правил (цит. по: [16. С. 248]).

Следует отметить, что из-за значительного влияния в этой дискуссии субъективных факторов непросто понять, что побуждало примкнуть того или иного интеллектуала к одному из идейных лагерей. Сравним, к примеру, Цезаря и Цицерона. Оба были великими ораторами и блестящими писателями. Однако их взгляды на то, как развивается или, точнее, как должен развиваться язык, решительно расходились. Это разногласие, вероятно, имело мировоззренческие основания.

Цезарь был фаталистом и реформатором в политике. Цицерон же защищал принцип свободы воли и стоял на консервативно-республиканских позициях. Возможно, поэтому или, точнее, в связи с названными фактами Гай Юлий, будучи сторонником аналогии, хотел перестроить язык в соответствии с четкими законами. Тогда как Марк Тулий ратовал за сохранение языка в его наличном состоянии со всеми отступлениями от правил. Впрочем, Цезарь являлся аналогистом только в теории, написав грамматический трактат «Об аналогии», посвященный, кстати, его выдающемуся оппоненту. Известно, что в своей литературно-риторической деятельности он не руководствовался собственными теоретическими установками [16. С. 243]. Цицерон, в свою очередь, смотрел на дело как оратор-практик. Он утверждал: для того чтобы быть понятым и принятым народом, ритор должен разделять с ним общий язык, употребляя не законосообразные, а привычные всем формы. Так, в своей работе, посвященной ораторскому искусству, Марк Тулий сопоставляет два глагольных варианта и приходит к выводу: «Я чувствую, что *scripserunt* – правильнее (чем *scripseret alii rem.* – А.К.), но охотно следую обычаю, более приятному для слуха» [цит. по: 16. С. 236; III, 39–48) 17. С. 324–326].

4.2. Параллельно с противостоявшими друг другу идеологическими течениями римская мысль той эпохи также двигалась и в более научном – описывающем, нежели предписывающем – направлении. Его создатели (Варрон, Плиний Старший и т.д.) предлагали взвешенное решение обсуждаемой проблемы, признавая факт и право на существование в языке как за аналогией, так и за аномалией. По словам Варрона, «аналогия родилась из некоторого обихода, и из того же обихода – аномалия; следовательно, раз обиход охватывает несходные и сходные слова и их склонение, то не следует отвергать ни аномалию ни аналогию» [8. С. 94]. Два этих принципа реализуются в языке по-разному. Аналогия, доказывали приверженцы этого направления, преобладает в словоизменении, тогда как аномалия – в словообразовании. Причиной такого распределения служит то, что «каждый устанавливает имя, как ему угодно, а склоняет так, как угодно природе», – говорит тот же автор о современном ему состоянии языка [8. С. 103]. Повод к тому, чтобы видеть в словообразовании сферу действия аномалии, давала латинская грамматика и, в особенности, характерное для нее несоответствие основ исходной формы номинатива и форм косвенных падежей у существительных третьего склонения. Вместе с тем даже в названных сферах языковой организации влияние этих принципов не абсолютно. Так, на взгляд Плиния Старшего, в словоизменении, кроме аналогии, определенное значение имеют обычай, авторитет писателя, требование благозвучия и «величие старины» [16. С. 248]. Необходимо также принимать в расчет и то, *кто* пользуется языком. «Народ в целом должен для всех слов применять аналогию, и если его привычки неправильны – сам их исправлять», – убежден Варрон, выражающий в этих словах свои идеологические воззрения. В то же время оратор не может и «не должен применять ее повсюду», а тем более поэт, который «может безнаказанно выходить» за положенные аналогией пределы [8. С. 94].

Допуская сосуществование двух противоположных принципов в устройстве языка, исследователи не могли обойти молчанием причины этого явления. Яркий пример попытки их объяснения представляет собой теория претерпевания (πάθη). Разработанная александрийскими грамматистами, она была хорошо известна в Риме. Ее создатели – последовательные сторонники аналогизма – стремились «вписать» любые имеющиеся в языке исключения и неясности в свою грамматическую теорию. Согласно их концепции, каждая языковая форма может получить рациональное обоснование через анализ каузальной связи, обусловившей её специфику. Чтобы осуществить этот тезис, александрийцы проводили усложнение объясняющих правил. При этом они исходили из представления, что сфера применения аналогического принципа почти безгранична. Для иллюстрации того, как прилагалась теория претерпевания к данным конкретного языка, обратимся к деривативной концепции Филоксена (I в. до н.э.). Из нее следовало, к примеру, что слово λιμός («голод») происходит от λείψ («недостаток») путем перехода дифтонга ει в гласный ι. Это сокращение грамматик Трифон объяснял следующим образом: «Поскольку слово это означает недостаточность, оно из-за этого приняло недостаточность гласного звука» [18. С. 44 и далее]⁴.

Мы видим, что, по сути, представители александрийской школы используют тот же интеллектуальный прием, что и их оппоненты стоики, возводившие на его основе башню универсальной этимологии. Для сравнения, Варрон возводил глагол facere «делать» к facies («лицо») по той причине, что делая что-либо, мы придаем созидаемому его лицо; а его учитель Стилон находил источником слова volpes («лиса») сочетание volare pedibus («летать ногами») [19. С. 428]. Вся разница между подходами состоит в том, что александрийцы пытались обосновать закономерность формы, опираясь на сходство значений; а стоики доказывали закономерность значения, опираясь на сходство форм. Несмотря на то что первые были непоколебимыми аналогистами, а вторые – столь же убежденными аномалистами, и те и другие исходили в своих рассуждениях из общих мировоззренческих предпосылок, присущих их культурной эпохе. Важнейшей из них в интересующем нас отношении было представление о вселенской симпатии – тотальной связанности и соизмеримости в бытии всех его частей, будь то боги, вещи, слова или мысли в сознании человека. Следствием этого имманентизма явилась рационализация мира, образцы которой мы только что рассмотрели. По словам А.Ф. Лосева, она берет свое начало в свойственном эллинизму «опыте самодовлеющей личности... Когда богатеет субъект, беднеет обкрадываемая им объективная действительность (и наоборот)» [2. С. 197].

И этимологический метод стоиков и, хотя бы отчасти, косвенно, теория «претерпеваний» александрийских грамматиков были обусловлены стремлением расшеять, преодолеть конвенционализм, который, словно морок, застал собой изначальную гармонию между словом и миром. Одна и та же культура парадоксальным образом утверждала и боролась с условно-номиналистическим пониманием природы слова. Согласно господствовавшему в ней взгляду, язык возник

не на основе произвольного установления имен по соглашению. Но, хотя оформление человеческой речи было мотивировано действительностью и, по стоикам, пронизывающей его божественной Пневмой, это не помешало дальнейшей конвенционализации языка. Как, по каким механизмам проходил этот процесс, с точки зрения стоицизма, было сказано выше: прежде всего за счет переносного употребления слов, в результате чего значения слов становились слишком расплывчатыми. Поэтому этимологизация стоиков строилась по принципу обратного переноса. Они искали тот троп, из которого возникло исследуемое слово.

5. Теперь поговорим о том, *почему* процесс конвенционализации стал возможным. В самом общем виде объяснить это можно тем, что не существует одного-единственного, принятого раз и навсегда способа использования языка. По-разному употребляя язык в различные периоды общественной жизни, люди создают не совпадающие друг с другом коммуникативные практики, или речевые обиходы (habitus). В отсутствие кодифицированных, для всех обязательных правил и норм обиход был той единственной силой, которая обуславливала речевую действительность. Вот как об этом говорит Гораций:

Нет, возродятся слова, которые ныне забыты,
И позабудутся те, что в чести, – коль захочет
обычай,

Тот, что диктует и меру, и вкус, и закон нашей речи
(пер. М.Л. Гаспарова) (Наука поэзии, ст. 70–72)
[1. С. 385].

Почему коммуникативные практики и привычки сменяют друг друга – этот вопрос оставался открытым. Впрочем, стоики были склонны искать на него ответ в духовном состоянии общества. «Какова у людей жизнь, такова и речь», – повторяет греческую пословицу в одном из писем Сенека (CXIV, 1–2) [20. С. 288]. Но сам факт того, что «речевой обиход находится в постоянном движении», ни у кого не вызывал сомнения. Взирая на него с оценочной позиции, типичной для представителей стоицизма, Варрон заключает: все «хорошее (в речи – А.К.) может ухудшаться, а дурное улучшаться» (О лат. яз. IX, 17) (цит. по: [16. С. 241])⁵. Пример того, как может портиться хорошее, дает далекий от стоического ригоризма Овидий, наблюдавший за происходившими на его глазах орфоэпическими мутациями:

Ну а что уж о том говорить, как нарочно картавят
И по заказу язык нужный коверкает звук?
Этот невнятный лепечущий выговор – тоже ведь
мода;

Нужно учиться болтать хуже, чем можешь болтать
(пер. М.Л. Гаспарова)
[21. С. 143].

Описывая, как происходит формирование преобладающего модуса употребления языка, римские интеллектуалы подчеркивали в этом процессе лидирующую роль тех, чей род занятий был сопряжен с целенаправленным культивированием речи: ораторов, поэтов, писателей и т.д. [16. С. 242]. По словам Сенеки, главным законодателем языкового вкуса эпохи являются «те, кто об эту пору главенствует в красноречии; остальные ему подражают и заражают один другого» (CXIV, 17)

[20. С. 291]. Иными словами, распространение речевой моды происходит отчасти сознательно, отчасти инстинктивно. Добавим, что в этом высказывании философ подразумевает в первую очередь адвокатов: в его время (первая половина I в. н.э.), да и на всем протяжении двух рубежных веков именно судебная риторика имела решающее влияние на речевой обиход римского общества [19. С. 394–395].

В завершение предпринятого исследования ещё раз подчеркнём, что его основной целью было найти и показать незаметные (на первый взгляд) связи, соединявшие отдельные аспекты речевой реальности и её концептуальный образ в Риме на рубеже двух эр. Ограничив анализ рамками элитарных кругов римского общества, где, собственно, и создавалось научное знание того времени, мы попытались проследить взаимосвязь, которая суще-

ствовала между характером обращения с языком, его наивно-обыденной онтологией и лингвистической теорией в их общей обусловленности со стороны ментальности и мировоззрения, присущих римским интеллектуалам I в. до н.э. – I в. н.э. Было показано, что социокультурная обусловленность лингвистической теории проявлялась в самом выборе проблем, постулируемых в качестве важнейших (происхождение и развитие языка), а также в подходах к их решению, разрабатываемых сторонниками конкурировавших школ (стоики и эпикурейцы, приверженцы аналогии и аномалии). Оказалось, что при всём различии этих подходов их метафизические основания являлись во многом общими, т.к. были предопределены универсальными мыслительными установками и представлениями, господствовавшими в элитарной среде той эпохи.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ср. высказывание Г. Ферреро, характеризующее состояние римского общества времен гражданских войн (I в. до н.э.): «Без конца рассуждали о бедствиях Рима, но никто ничего не делал; умы всех слабели от пассивной бездеятельности, хотя люди пытались стряхнуться...» [12. С. 54].
- ² «Чувствует каждый, на что свои силы способен направить», – читаем у Лукреция в том же контексте (ст. 1033) [14. С. 187].
- ³ Ср. у Лукреция: «Род человеков... означил разными звуками все, по различным своим ощущениям» (ст. 1058–1059) [14. С. 188].
- ⁴ Классификацию всех видов «претерпеваний» см. в [8. С. 116].
- ⁵ Ср. сходное замечание Сенеки: «Для речи нет строгих правил. Их изменяет привычка, а она никогда не задерживается долго на одном» (CXIV, 13) [20. С. 290].

ЛИТЕРАТУРА

1. Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Художественная литература, 1971.
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. Харьков: Фолио; Москва: АСТ, 2000.
3. Цицерон. О законах // Цицерон М.Т. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об обязанностях. Речи. Письма. М.: Мысль, 1999.
4. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М.: Ладомир, 1994.
5. Марк Манилий. Астрономика. (Наука о гороскопах). М.: Изд-во МГУ, 1993.
6. Светоний Г.Т. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Художественная литература, 1990.
7. Овидий. Любовные элегии // Овидий. Любовные элегии; Метаморфозы; Скорбные элегии. М.: Художественная литература, 1983.
8. Античные теории языка и стиля. М.: ОГИЗ-СОЦЭЖИЗ, 1936.
9. Плиний Младший. Письма Плиния Младшего. М.: Наука, 1983.
10. Светоний Г.Т. О грамматиках // Светоний Г.Т. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Правда, 1988.
11. Сергиенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. СПб.: Летний сад; Журнал «Нева», 2000.
12. Ферреро Г. Величие и падение Рима. СПб.: Наука; Ювента, 1997. Кн. 1 (т. 1, 2).
13. Верлинский А.Л. Античные учения о возникновении языка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
14. Лукреций К. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983.
15. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979.
16. История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
17. Цицерон. Об ораторе // Цицерон. Эстетика: Трактаты, речи, письма. М.: Искусство, 1994.
18. Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. М.: Едиториал УРСС, 2004.
19. Моммзен Т. История Рима. СПб.: Наука; Ювента, 2005. Т. 3.
20. Луций Аней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М.: Наука, 1977.
21. Овидий. Наука любви // Овидий. Наука любви. Лекарство от любви. М.: Эксмо, 2006.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 23 ноября 2009 г.